

Лариса Миллер



НА ПАМЯТЬ УЗЕЛКИ

Рецензии, эссе, письма

Лариса Миллер
На память узелки.
Рецензии, эссе, письма

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18323956
ISBN 9785447470562*

Аннотация

Лариса Миллер – поэт, прозаик, эссеист, автор 26 книг стихов и прозы, три из которых («Заметки, записи, штрихи», «Мотив. К себе, от себя», «Упоение заразительно») включают эссе и рецензии, написанные в 1990-е годы. В 2012 году после 12-летнего перерыва Лариса Миллер вернулась к жанру «малых форм». Данная книга – собрание откликов, эссе, рецензий, написанных в 2012—2015 гг. В приложении – электронная переписка автора с Борисом Рыжим, возникшая незадолго до его трагической гибели 7 мая 2001 года.

Содержание

I. 2012 год	5
О поэзии Сергея Гандлевского ¹	5
Запоздалый звонок ²	13
«Конец света, говорите?» ³ (Лев Рубинштейн, «Знаки внимания»)	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

На память узелки

Рецензии, эссе, письма

Лариса Миллер

© Лариса Миллер, 2016

Фотография на обложке Лариса Миллер в Музее Булата Окуджавы в Переделкине/Мичуринце в «День колокольчика», 29 августа 2015 г.

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

I. 2012 год

О поэзии Сергея Гандлевского¹

Наверное, чистый лист существует для того, чтобы на нём возникало нечто, не способное испортить ни белизны его, ни чистоты. А это бывает крайне редко. Каждый подобный случай – подарок.

Таким подарком являются для меня стихи Сергея Гандлевского. И как рано, в какие-то 20-ть лет, он стал писать совершенные и при этом абсолютно живые стихи.

Среди фанерных переборок
И дачных скрипов чердака
Я сам себе далёк и дорог,
Как музыка издалека.
Давно, сырым и нежным летом,
Когда звенел велосипед,
Жил мальчик – я, по всем приметам,
А, впрочем, может быть, и нет.

Способность с лёгкостью то удалять, то приближать события, эпоху, себя самого осталась у поэта на всю жизнь. При-

¹ «Арион», №3, 2012 г.

чём и в поэзии и в прозе. Недаром одно его эссе называется «Blow up» (фотоувеличение).

Чтобы понять почерк Гандлевского, достаточно зарыться с головой в приведённое выше стихотворение 1973 года. В нём есть всё, что характерно для лучших стихов и более позднего времени: раскованность, цепкий взгляд, выхватывающий из окружающего пространства, казалось бы, случайные, а на деле совсем не случайные детали – лишь те, через которые легче объяснить с пространством и с самим собой:

Чай, лампа, затеррасный сумрак,
Сверчок за тонкою стеной
Хранили бережный рисунок
Меня, непознанного мной.

«Сто лет свободы и любви», которыми кончается это стихотворение, ещё не истекли и, хочется надеяться, не истекут никогда. Они есть и в стихах, написанных спустя десять лет, в 1983 – ем.

Возьмите всё, но мне оставьте
Спокойный ум, притихший дом,
Фонарный контур на асфальте
Да сизый тополь под окном.

Тот же цепкий и влюблённый взгляд, что и десять лет на-

зад. Та же способность ощутить «толчок сердечный» от самых простых рутинных вещей, заставив и нас испытать то же самое. И можно ли не почувствовать «толчок сердечный», если обыкновенная кирпичная стена «бежит» вокруг больницы, «худая скомканная птица» (вот ради какой детали стоит тревожить белый лист!) «кружит под небом», женский гомон «плутает», разговор «струится», невнятица «плещется». Не знаю как у кого, но у меня от этих скоростей и этих подвижных глаголов голова идёт кругом. За что я безмерно благодарна поэту.

Перелистнём ещё несколько страниц и, сбросив скорость, пойдём помедленней.

Было бы грустно, как если бы мы шаг за шагом
Хвойной тропинкой взошли на обветренный холм
И примостились бок о бок над самым оврагом —
Я под сосною, а ты на откосе сухом.

Здесь, как и в более ранних стихах, всё предметно, наглядно, но на сей раз поэт медленно переводит взгляд с закатного неба на сосняк, на поляны, на большие озёра, в одном из которых отразился лесной монастырь. Он вбирает в себя всё, что открылось «потемневшему взору» (за который ещё одна благодарность от не напрасно потревоженного листа бумаги). Здесь уже действительно не взгляд, а взор, вбирающий в себя огромное пространство. И снова головокружение. Но уже не от стремительности происходящего, а от бес-

предельности пространства.

Две-три поляны, сосняк и большие озёра,
В самом большом отразился большой монастырь.

Неужто нет других эпитетов, кроме «большой»? Есть, но они не нужны. Здесь нужен только этот, трижды повторенный в двух соседних строках, благодаря чему возникли глубь и ширь, и высь.

«Было так грустно..., — говорит автор, — да лёгкое сердце забыло». Разве это не пушкинское «печаль моя светла»?

Слова «легко, грустно, маяться» живут бок о бок и в следующем стихотворении и помогают «различить связующую ноту/ В расстроенном звучанье дней!»

«Я жив, но я другой, сохранно только имя». Конечно, другой. Потому и жив. И всё же «праздник всегда с тобой».

«Праздник. Всё на свете праздник/ Красный, чёрный, голубой». Да, и чёрный. Бывает и чёрный праздник, если уметь приподнять этот чёрный цвет и превратить в поэзию. Если превратить в поэзию и «чикиликанье галок в осеннем дворе», и «коммунальный зверинец», и «помойных кошек» которые «с вожделением делят какую-то дрянь».

В одном из разговоров Гандлевский обозвал меня «дитя добра и света». Именно обозвал, потому что в его устах это весьма сомнительная похвала. Я же хочу ему ответить так, как отвечают в детстве: «Сам такой». А иначе отку-

да эти разноцветные праздники? Откуда строка «зелёным взрывом тополя разбужен»? Откуда призыв «Давай живи, смотри не умирай»? Откуда постулат «Стихи не орудие мести,/А серебряной чести родник»? Откуда эта способность преобразать всё, даже не самые аппетитные подробности нашего существования? Разве это не свидетельствует о миро-приятии (пользуясь словом Гандлевского)? А что до «кривой ухмылки» (опять его выражение), то я бы употребила более точное определение – «горькая усмешка», которая только льёт воду на мельницу миро-приятия. Ведь одно дело воскликнуть «Узнаю тебя, жизнь, принимаю/ И приветствую звоном щита», и совсем другое – сухо и буднично перечислять всё, что попало на глаза: «Пруд, покрытый гушиной кожей, /семафор через силу горит, /Сеет дождь, и небритый прохожий /Сам с собой на ходу говорит». Но перечислять так, с таким обилием точных определений, что становится ясно: автор влюблён во всё вышеназванное.

Иначе он не был бы столь зорек и точен. И действует подобная любовь куда сильнее, чем признание типа «Я люблю тебя, жизнь./ Я люблю тебя снова и снова.» И я, заражённая этим чувством, перечитываю стихотворение в сотый раз и в сотый раз радуюсь тому, что «кружит ночь из семейства вороньих./ Расстояния свищут в кулак». Вот и получается, что во множестве безрадостных стихов Гандлевского вместо «нет», которое он, вроде бы, произносит, звучит «да». И такое «да» дорогого стоит. Гораздо дороже, чем «да» без при-

меси «нет».

То же самое происходит и в прозе. Я недавно перечитывала его прозу и покатывалась со смеху. Мои домашние с завистью спросили, что я такое читаю. «Трепанацию черепа», – ответила я. «Ну и что ж в этом смешного?», – последовал законный вопрос. И я принялась читать вслух. Теперь уже смеялись все. И когда среди всего этого появляются бесхитростные и пронзительные строки, то они действуют куда сильнее, чем если бы находились среди себе подобных: «Пару лет назад я вычитал у Клайва Стейплза Льюиса рассуждение, от которого у меня защемило сердце. Раз бессмертно только вещество любви, то спасение живности целиком зависит от нас. Если мы действительно любим собаку, кошку, хомяка или черепаху, то тем самым обессмерчиваем свою животину. Без нашего участия звери обречены. Даже если Льюис ошибся, Бог может прислушаться к этому мнению, одобрить его и внести кое-какие поправки в Свое мироздание, ведь Он – творец, а не догматик».

Я бы с радостью продолжила цитату, но обрываю её, чтоб привести ещё одну, без которой нельзя обойтись. Гандлевский пишет о смертельно больной матери, которую он навестил в больницу: «Подавленный её видом, не оставлявшим сомнений, я наспех поцеловал мать и ушёл, почти убежал. И только у метро меня ударило: ведь она наверняка стояла у окна палаты на втором этаже и махала мне в спину.... Маши мне всегда! Слабый, себялюбивый, обмирающий от неж-

ности, заклиная: ни на мгновение не опускай руки, на каком бы ярусе мира ты сейчас ни была и чего бы это тебе ни стоило. Пока под твоим взглядом я не обернусь, содрогаясь от рыданий несбыточной встречи». Спасибо за эти строки. И спасибо за то, что они живут среди гомерически смешных сюжетов. И спасибо за способность видеть смешное там, где, как правило, ничего смешного видеть не принято.

И спасибо за блестящий ум. Хотя за это не благодарят. Ум или есть или его нет. Но в случае Гандлевского он настолько очевиден, что о нём нельзя не сказать отдельной строкой и нельзя не вспомнить характеристику, которую дал Пушкин Баратынскому: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». Талант редок, но талант + ум – ещё большая редкость.

И спасибо за умение виртуозно менять регистры и с лёгкостью переходить с конкретных, подчас комических событий к метафизике, которая впрочем почти всегда просвечивает у него сквозь любые самые приземлённые реалии. Можно привести уйму примеров. За неимением места приведу один. Вот подросток Гандлевский – на подмосковной базе отдыха. Перед сном он читает Пастернака, которого на три дня дала ему учительница литературы: «И так неистовы на синем / Разбеги огненных стволов, / И мы так долго рук не вынем / Из-под заломленных голов...». – Я поёжился от сырости казённого белья, предутреннего холода и грозного счастья подступившей вплотную жизни». Наверное, благодаря этому свойству не терять связи с метафизическим,

у меня ни разу не возник недоумённый вопрос: «А почему, собственно, я должна вникать в чью-то жизнь? Пускай автор живёт „свою подробную“, а я – свою».

Можно говорить долго, но приходится закругляться.

Хочется добавить одно: пример Гандлевского показывает, что все разговоры об исчерпанности традиционного стихосложения – вздор. Важно только одно – кто это поле возделывает.

Как известно, «талант – единственная новость, которая всегда нова». С талантами всегда и везде напряжёнka, но пока они есть, не будем хоронить ни традицию, ни поэзию, даже если, по мнению Бродского, она нужна лишь одному проценту населения. И, когда я листаю сборник Гандлевского и набредаю на мрачные строки «Каждый сам себе отопри свой ад,/ Словно дверцу шкафчика в душевой», я попадаю – пусть не в рай – но туда, где мне очень хорошо и откуда я совсем не спешу уходить.

Запоздалый звонок²
(к 20-летию гибели
Юрия Карабчиевского
(14.10.1938 – 30.07.1992))

Юра, тебя очень не хватает сегодня. Как, впрочем, и вчера. Не хватает твоей честности, горячности, равнодушия. Не хватает тебя, потому что сегодня огромный дефицит людей с низким болевым порогом, людей, способных боль других чувствовать так же остро, как свою собственную. Ты был болен и Сумгаитом, и Карабахом и Спитаком. Ты был ранен смертью А. Д. Сахарова. Это всё были события твоей личной жизни.

Ты впустил в себя так много чужой боли, что у тебя в те июльские дни двадцать лет назад, видимо, не хватило сил на свою собственную. И никого из друзей не оказалось рядом, чтобы подставить плечо. Никого не было в Москве: жара, лето. Вернувшись в Москву после отпуска, мы обнаружили в своём почтовом ящике множество твоих записок с одним словом: «Позвоните». Тебя уже не было в живых. Я тебе столько раз мысленно звонила с той поры. Мне столько надо было сказать тебе.

² «Новая газета», 27 июля 2012 г.

Окликаю тебя и сегодня, чтобы ещё раз повторить, что ты нужен. Нужен друзьям, читателям. Тем, кто любил тебя, и тем, кто мог бы полюбить. Ты нужен, потому что ты из немногочисленной ныне когорты писателей, не столько озабоченных самовыражением и формальными поисками, сколько тем, чтоб пробиться к душе читателя. И тебе это удалось. Но, к сожалению, хоть тебя и щедро печатали в последние годы твоей жизни, твой полуавтобиографический роман «Жизнь Александра Зильбера» и сборник повестей «Тоска по дому», и блестяще остроумная проза «Всё ломается», и «Незабвенный Мишуня», и тем более стихи, – всё ушло в тень, когда вышла наделавшая много шума книга «Воскресение Маяковского».

При всём своём блеске, эта книга – беспощадная, жестокая и во многом несправедливая. Так нельзя писать о поэте, о чём мы (я и Боря) тебе сказали сразу, прочитав по твоей просьбе рукопись. Печаль в том, что ты согласился с нами гораздо позже, незадолго до смерти. «Мне всё меньше нравятся те, кому нравится мой „Маяковский“», – как-то признался ты. А своей последней весной сказал: «Маяковский тянет меня за собой». «Твой Маяковский» действительно сыграл с тобой злую штуку, намертво привязав тебя к себе. Ведь если кто и помнит тебя сегодня, то чаще всего за «Воскресение Маяковского». Разве ты этого хотел? Но что поделаешь? Твои недостатки суть продолжение твоих достоинств. В твоей излишне категоричной и жёсткой оценке Ма-

яковского «виноваты» всё те же твои прекрасные свойства: равнодушие, горячность и, в конечном счёте, любовь.

«Потому что любил», — назвала я свою рецензию на переизданную не столь давно книгу «Воскресение Маяковского». Помнишь, когда ты приходил к нам за очередным томом Маяковского (ты как раз тогда задумал свою книгу), я тебя шутя спросила: «Ты что, телегу на Маяковского строишь?», ты засмеялся: «Как догадалась?» и рассказал мне, как бредил им всю свою юность.

Да, тебя часто «заносило». Но «заносит» многих. А вот признать свою ошибку, изменить мнение могут единицы. У тебя есть это драгоценное свойство, потому что ты живой. Ты сам в одном из своих интервью сказал: «Человек — явление динамическое, в статике его просто нет. Он должен непрерывно осуществляться, как бы продолжать своё существование». Ты непростительно рано поставил окончательную точку, устав осуществляться. Но я то и дело окликаю тебя, желая узнать твоё мнение о том, об этом. И пусть мы с тобой не совпадём. Куда важнее то, что тебе всё интересно и что ты живой. А ведь жить ещё не значит быть живым. Это не даровое свойство. Оно присуще далеко не всем. Для меня и, наверное, многих других ты и сегодня, через двадцать лет после гибели, жив. Ты говорил, что жить надо там, где после твоего ухода останется луночка, как бывает, когда вырвут зуб.

Луночка осталась, Юра. И не только луночка. Остались

твои книги. Хотя где они? Станут ли сегодня переиздавать что-нибудь, кроме скандального «Маяковского»? А мне бы так хотелось, чтоб прочитали твою «Тоску по Армении», твоего печально-весёлого «Незабвенного Мишуню», твой блестящий очерк о Мандельштаме, с которого началось моё заочное знакомство с тобой. Помнишь, я тебе рассказывала, что прочла его в 76-ом году в одном тамиздатском журнале и решила, что автор живёт за рубежом, а потом выяснилось, что мы живём рядом в Тёплом Стане и разделяет нас только пустырь? На мой взгляд, всё, что ты написал, абсолютно современно и сейчас. Но посчитают ли так издатели?

А судьба всё бежит за тобой по следу, «как сумасшедший с бритвою в руке». Через год после твоего самоубийства покончила с собой твоя Света. А совсем недавно скоропостижно скончался твой старший сын Аркан. Это был тот редкий случай, когда я благословила судьбу, что тебя нет на свете. Я помню, как ты однажды сказал: «Не дай Бог пережить своих детей». Впрочем, что мы знаем о постбытийном существовании. А вдруг вы все там встретились. Вдруг они просто хотели поскорее попасть к тебе.

Где-то на земле живёт твой младший сын Дима. Надеюсь, он по-прежнему пишет картины, которые ты так ценил. Помню, как ты шёл с Димкой мимо наших окон, и у каждого из вас была огромная поклажа – картины, которые вы везли на суд какого-то очередного мэтра. Наверное, если я наберу сегодня твой номер 3381729, ответит совершенно чу-

жой голос. Лучше я поговорю с тобой вот так, с помощью этого письма. Как всё-таки важно, чтоб оставались на земле такие люди, как ты. Чтоб можно было крикнуть: «Есть кто живой?», и знать, что кто-нибудь ответит.

Я прожил жизнь, не хуже, чем пытался.
Все выжал из нее и все в ней выжил.
И кончился. И просьба не винить.
И нет меня. Но остаются дети.
Ночь на исходе, утром на работу.
Привычную напялив оболочку,
Я вновь прикинусь теплым и живым.
Мой внешний вид вне всяких подозрений
Ни зеркала, ни взгляды сослуживцев.
Но есть глаза, есть два таких зрачка, —
В которые вошла без искажений
Моя потусторонняя тоска...

Юрий Карабчиевский

Памяти Юры Карабчиевского

Кипень вся июльская, весь жасмин —
На помин души твоей, на помин,
На помин души того, кто устал,
И ушел, отчаявшись, и не стал
Срока ждать предельного. Ах, июль,
Что в тебе смертельного? Горсть пилюль
Да тоска бездонная всех ночей,
Да бессилье полное всех речей.

Лариса Миллер

«Конец света, говорите?»³ (Лев Рубинштейн, «Знаки внимания»)

Хотите жить лучше и веселее? Читайте новую книгу Льва Рубинштейна «Знаки внимания»⁴. Нет-нет, он не дает никаких рецептов и полезных советов, позволяющих улучшить качество жизни. Напротив, он нажимает на все наши болевые точки. Причем анестезией служит сам язык – веселый и игривый, чудесным образом позволяющий легко переносить боль. И не просто легко, а умирая со смеху. «Конец света, говорите? Ну-ну. Даже интересно. Не знаю, кто как, но я еще ни разу не видел...» Таково начало этой книги, состоящей из множества коротких эссе. О чем они? О наших фобиях, предрассудках, заблуждениях, ожиданиях, о нас в мировом контексте и в контексте домашнем. Много о чем. А посыл вот какой: пожалуйста, не ходите строем, сторонитесь толпы, думайте сами. И про конец света не надо. И про мировой заговор не надо. И про инородцев не надо. И, честное слово, есть что любить в этой жизни при любом раскладе.

А иногда и посылка нет – просто забавный эпизод. Кто сказал, что всегда должен быть месседж, вывод, мораль? Ведь потребность в них тоже может быть признаком несамостоя-

³ «НГ – Ex Libris», 30 августа 2012 г.

⁴ Лев Рубинштейн, «Знаки внимания» / М.: АСТ, 2012.

тельности и привычки жить за чужой счет. «А при каком общественном устройстве лучше или хуже живется – так это дело сугубо индивидуальное. Кто-то хочет быть свободным, а потому должен быть готов к различным рискам, каковыми всегда сопровождается свобода». На вкус автора этот вариант куда лучше, чем наличие пахана, по которому у нас до сих пор тоскуют. И написано об этом без всякого обличительного пафоса. Пафоса в этой книге нет вообще. Зато есть юмор и, главное, точно поставленный диагноз. Рубинштейн – диагност от Бога. Прочтите хотя бы эссе «Зла хватает» о свойственной нам агрессивности или «После бала» о «застенчивом полумолчании», которым был отмечен недавний юбилей Льва Толстого. «Говорят, что на Толстого до сих пор дуется солидное и влиятельное учреждение, играющее в наши дни роль идеологического отдела правящей партии и именуемое РПЦ. Может быть, и так. А государство, а общество? Ну, видимо, такое у нас состояние общества, что не до Толстых теперь.

А еще автор может рассказать вам о вашем детстве. И неважно, сколько вам лет. Прочтите «Что хотелось бы забыть, но не получается», и вы убедитесь, что это и про вас. Одно странно, что, поставив нашему обществу точный диагноз – «вечный неизживаемый пубертат», автор, умиляясь на те «хорошие лица», что он увидел на недавних митингах и демонстрациях, не задается вопросом: «А не впадаем ли мы в ту же эйфорию, в какую впадали в начале 90-х?»

Не нужна ли какая-то основательная, содержательная и понятная загнанным в угол людям социальная программа, без которой все эти протестные мероприятия часто превращаются в веселую прогулку с раздачей автографов? Не является ли такая ничем не обеспеченная эйфория тем самым «вечным детством», о котором автор говорит в своем эссе «В детском мире»? «Эх, птица-тройка! Кем, скажи, ты хочешь стать, когда вырастешь наконец? Да и вырастешь ли? Станешь ли взрослой? А?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.